



просвещение, государственная политика в области формирования национального ядра библиотек — все это развивалось с XI столетия в Киевской Руси, в Московском Царстве на правах духовной преемственности от Византии. Так в единстве многообразия органических везаний *культурно-исторического стиля* (К. Н. Леонтьев) складывался универсальный по характеру и одновременно самобытный «домострой» — идеология национального *домостроительства* книжной культуры.

Культура одухотворяет историческое бытие. Но влияние культуры столь же неоднозначно, как сама духовность, и может быть живительным, болезненным, смертоносным. От этого влияния зависит характер личностно-общественной причастности к истории — историческая память нации, человечества. Именно от прогрессии хронических болезней культуры стремится спасти человечество Н. Ф. Федоров своим «неученым учением», проектом «общего дела». **Книга** занимает здесь место в красном углу как средство преобразования культуры социума, объединяющего индивидов механически, формально, в культуру общества личностей, соединенных органически сыновне-отеческими отношениями чрез века, тысячелетия. В вечности.

«Дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу и, перенеся минувшие деяния в потомство и глубокую вечность, соединить тех, кого натура долгою времени разделила»*. Так с гениальной простотой определил смысл исторической науки М. В. Ломоносов. Идеологи славянофильства, а точнее — «московской партии», «направления православно-русского» видят в этом духовное предназначение культуры вообще, размышляя о «характере просвещения» (И. В. Киреевский), об «общественном воспитании» (А. С. Хомяков), о «народном образовании», «народности в науке» (Ю. Ф. Самарин).

С позиций «московской партии» книжное слово должно служить «цельности ума и сердца», утверждению «верующего разума», «живому знанию». Высшее предназначение **книги** быть «словесной иконой», окном в горний мир, открывающим присутствие небесного в земном. Подлинная **книга** выражает дух своей «народности» в истории: его просветление и сумрак, взлеты и падения. Из таких книг складывается своеобразная летопись бытия национальной идеи, всех сопутствующих мифов культа и культуры. И если придерживаться ценностного подхода, то именно из книжных вершин национальных культур образуется мировая культура. Но по логике исторических реалий это всемирное со-

* Ломоносов М. В. Древняя Российская история // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 6. М.; Л., 1952. С. 171.

М. М. ПАНФИЛОВ

Ценностная диалектика книги

(Н. Ф. Федоров и русская мысль XVIII—XIX веков)

Произведение письменности изначально соприкасается с традицией космического уровня: вселенная есть **книга**, которую создал Бог. Мир познается как раскрытая **книга**. *Книжная энергетика* позволяет поколениям быть причастными к историко-культурной памяти по горизонтали и вертикали. **Книга** — *дом* отеческой мудрости рода, на-рода, человечества и *Дом* Софии, Премудрости Божией. **Книга** раскрывает *небесный* смысл *земной* жизни, несет *Благую весть* о безграничной свободе *со-вести*. Здесь в событийной ткани повседневности запечатлены самые различные по своей природе вехи между началом и концом Истории.

Характер восприятия **книги** в *сфере мифов и символов культуры* соответственно сопряжен с такими формами сознания, где вербальные и невербальные возможности, художественно-образные интуиции, грани рационального и тональность иррациональных проявлений не вступают в непримиримые противоречия. В идеале же *со-знание* и *со-весть*, «ум» и «сердце» проявляются в мировоззрении и мирозерцании как самобытное органическое единство, «цельный разум» (И. В. Киреевский).

По мере распространения секуляризации во всех сферах человеческого бытия, разрыв науки и религии воспринимается как нечто вполне естественное. Самодостаточные основания приобретает рационализм гуманитарного знания. Интуитивно общедоступный *смысл книги в истории*, открытые с древности окна метафизики общения посредством письменного слова оказались за предметными рамками науки.

Глубинные изменения в восприятии христианских основ книжной культуры, которые, начиная с эпохи Ренессанса, подспудно охватили Европу, в особой форме проявились в истории России второй половины XVII—XX веков. Культ книги, монастырское

брание книжных памятников может преобразиться во всемирный собор только под воздействием единства веры, религиозного единства мысли.

«Книга как выражение слова, мысли и знания занимает высшее место среди памятников прошедшего; должна она занимать его и в будущем, которое призвано стать делом возвращения прошедших поколений к жизни, и лишь тогда книга с этого первого места сойдет на последнее, когда то, что было лишь в книге, то есть только в мысли и голове, станет живым делом человечества»*.

В этих словах филигранно запечатлен стержневой концепт «священного дела» книжной культуры в интерпретации Федорова. «Московский Сократ» отводит *книговедению* глобальную роль в органичном созидании, преображающем в одухотворенную космическую целостность жизненное пространство национальных культур. Внешне традиционно скромная историко-книжная прикладная наука приобретает у него статус «человековедения» и «природоведения».

Подобная трактовка, полностью отвечая неповторимому духу философии «общего дела», казалось бы, не может озвучиваться в ином исполнении. Ведь Федоров слишком самобытен, поглощен грандиозным, сверхчеловеческим богостроительным «проектом», чтобы иметь прямых предшественников и последователей в XIX—XX столетиях. Не случайно, что и *родословие* своего «книгописца» творчества он приемлет непосредственно от древнерусских книжников, вступая с ними в своеобразное соревнование. (Литературная анонимность «одинокого мыслителя» символизирует смирение; пространными названиями своих работ он стремится превзойти аналогичную декларативность средневековых «учительных» трактатов.)

«Проект» воскрешающего книжного родства как средство обретения Царства Божия на земле — вот всепоглощающая идея Федорова. И здесь, пред *алтарем* книжной культуры, он занимает исключительное положение. Как бы первосвященник без сослужителей и паствы... Уже не *лицо*, а чудодейственный *лик ведения книжного* предстает в его «неученом» учении. Но настолько ли одинок Федоров в своей «нетрадиционной» оценке книговедческого знания?

* Цитата из утраченной статьи Н. Ф. Федорова «Уважал или презирал книгу XIX век?» (цит. по: *Кожевников В. А.* Николай Федорович Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным беседам. Ч. 1. М., 1908. С. 8).

КНИЖНИКИ, НО НЕ ФАРИСЕИ

Книговедение есть «познаниеведение». Данное утверждение отнюдь не заимствовано у Федорова. Это, быть может, претенциозное, на первый взгляд, уподобление принадлежит М. Ф. Таубе, одному из последних дооктябрьских апологетов «истинного славянофильства». Автор популярных экскурсов, посвященных духовно-нравственному, «антимистическому» воспитанию книгой, работ по психологии, статистике, он особенно тяготел к миро-созерцанию св. Феофана Затворника, А. С. Хомякова, Ф. М. Достоевского. Ортодоксальный консерватор, Таубе был далек от федоровского учения, тем паче — от кастовой, либеральной, всё более склоняющейся к революционно-подрывным тенденциям книговедческой и библиотечной среды своего времени. И это заведомо снимает с него подозрения в отраслевой экспансии, притязаниях возвести свою «кровную» дисциплину на трон науки наук. Причина стилистического сближения его трактовок с федоровским книговедением имеет иные — глубинные истоки.

Историческая миссия книжности и библиотечного дела в Киевской Руси, Московском царстве — духовное *собрание земли, рода, народности* (нации). Это устремленное к *соборности* домостроительство национальной культуры зародилось в межсословной среде монастырских подвижников. Духовные каноны их «домостроя» едины, но полного мировоззренческого единодушия не было никогда (драматическое свидетельство тому — противостояние преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого). А Московское царство все более властно требовало от «книговедения» державной службы (книгописной, библиотечной, книгопечатной). Однако, несмотря на внутренние, порой крайне обостренные противоречия между людьми «книгородными», в сознании их твердо укоренилось, что при всей недостижимости евангельских заповедей *домостроительства* отказ от его канонов недопустим.

Когда мы начали утрачивать свое книжное *родство*?

Сначала *сборный устав* в книжности сменился веяниями *полуустава*, затем — перешел в *скоропись*...

«Ничто так наглядно не раскрывает самой сущности прогресса, этого спешного движения к новизне и торопливого отрицания старины, этой необдуманной замены последней первой, как палеография, наука о старых и новых письменах <...> Занимаясь формами букв, буквально — буквоедством, эта наука пользуется большим презрением у некоторых прогрессистов, а между тем формы букв говорят гораздо более слов, искреннее их; формы букв неподкупнее слов; скоропись, например, на словах говорит о прогрессе, а формы букв, как увидим, свидетельствуют о регрессе» (I, 53—54).

Такой своеобразный гимн палеографии складывается у Федорова. Здесь можно сразу же наметить смысловое соотношение с рассуждениями о «почерке» князя Мышкина в «Идиоте» Достоевского. (Тем паче, Достоевский и сам страстный каллиграф, для каждой рукописи у него рождался свой почерк.) И вот Федоров невольно как бы продолжает и развивает вложенные в уста Мышкина мысли о «характере шрифта». «Именно буквоедство и дает палеографии возможность определять характер эпох, т. е. делает ее искусством, умением, следя за изменением почерка, открывать перемены настроения, совершавшиеся в духе поколений, и притом перемены в самых существенных чертах, каковы переходы от веры, религиозности, к сомнению, неверию, светскости; причем вера, религиозность выражается в благоговении, основанном на сознании своего несовершенства, своей смертности, а сомнение, неверие — в чувстве презрения, которое начинается презрением к прошедшим поколениям, к умершим и забвением о собственной смертности и оканчивается совершенным обесценением жизни, пессимизмом, буддизмом. Палеография имеет целью определять не характер лиц, а характер обществ, степень их возвышения или падения» (I, 54).

Для каллиграфии, рисунков Достоевского в рукописях характерен готический мотив. Как книжное воспроизведение духовных вершин европейской культуры. И это опять же глубоко созвучно федоровскому «буквоедству». «Название почерка, господствовавшего в средние века, готическим, т.е. одним названием с архитектурой храмов, соединявших в себе все искусства, строившихся многие века, так что окончание их могли видеть лишь потомки начавших постройку этих храмов, это название, общее всем сторонам жизни, показывает, в какой тесной связи письмо находится со всею жизнью этого времени. Точно так же название в Древней Руси, в Руси византийской, почерка уставным и полууставным, т.е. одним названием с уставом, коему подчинялась вся жизнь тогдашнего времени, жизнь духовных и светских, такое название свидетельствует о способности письма быть графическим изображением духа времени» (I, 54).

Средневековая книга, по утверждению Федорова, создавалась «с глубоким благоговением, с любовью, даже с наслаждением», исполнялась «как художественная работа», слагалась «как молитва». «Ярко отличаясь одни от других, буквы эти не теснили, не давили и не сливались одна с другой, потому что и производились неспешно, неторопливо, производились как труд, в коем видели благословение, а не проклятие, не говоря уже о небесной награде; эти люди, переписчики, чаявшие блаженства в будущем, предвкушали его уже и в настоящем, находя удовольствие в самом труде» (I, 54).

Такой духовный устав книжников, с точки зрения современных Федорову «прогрессистов», есть явление «застоя» и «рабства». Письменность, соответственно, раскрепощается в Новое время. И здесь Федоров делает вывод, методологически значимый для осмысления истории книжного дела. «Подобно тому как все должности и профессии лишаются священного значения <...> и письмо перестает быть службою Богу в общем, хотя и таинственном, деле, а подобно другим профессиям обращается в личное дело и становится средством наживы; скоропись — это уже не священное письмо, и не благоговение управляет рукою писца, ставшего наемником и продавцом, не благоговение управляет и рукою писателя и вообще пишущего в эту эпоху, не признающую ничего священного. Скоропись, урезывая буквы, как урезывают в ту же эпоху платье, как сокращаются церемонии и обряды, лишает их (буквы) величия; лишаются величия и люди, свергнувшие иго устава и предавшиеся суетливой, лихорадочной деятельности, мельчающие в ней, обезличивающиеся и сливающиеся в толпу, подобно буквам, обезличивающимся и сливающимся при скорописи, при спешном письме. Письмена только отмечают перемены, совершающиеся в духе общества, переходящего от жизни, подчиненной строгому уставу, к суетливой и лихорадочной деятельности. Скорость не была бы болезненным явлением только в том случае, если бы прилагалась к общему отеческому делу и оправдывалась целью» (I, 54—55).

Размышляя о «скорострельном», «сороходном», «скоропечатном» характере Нового времени, Федоров провидчески предсказывает Новейшее время сверхзвуковых скоростей и виртуального общения. В отрыве от единения, от высшей цели человеческого бытия постоянное ускорение прогресса, литературное «многочисление», нарастая количественно теряет качественную ценность. Человек становится «самопишущей машиной», которая производит и потребляет в духовной слепоте опустошаемой души.

«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

Современники называли Федорова «идеальным библиотекарем», «гениальным книговедом». Некоторые нынешние представители книговедческой касты ему в этом отказывают. Что ж, этих специалистов по методологии истории книги по-своему можно понять. Ведь они защищают свое «научное сообщество» не только от «мечтаний» Федорова, но от «русской и православной идеи книжной культуры» как таковой.

Подобные настроения в книговедческой среде закономерно ориентируют на социальный статус книги в духе «исторического прогресса». С упразднением марксистско-ленинской методологии это

предполагает разнообразные вариации позитивизма и историцизма, в том числе: научные подходы к «просветительству» в стиле Н. А. Рубакина, мировоззренческий союз с культом исторического прогресса у Н. И. Кареева — признанного основоположника «историософии» в российской академической школе. И Федоров в данном случае не только не «попутчик», но и, быть может, самый воинствующий противник.

Н. А. Рубакин — выдающийся идеолог «культурной революции» в библиотечном и книжном деле России — до 1917 года считал своей главной целью разрушение традиций «православия, самодержавия, народности». Ленин, как известно, критиковал его фундаментальный труд «Среди книг» за «надпартийность» и «экллектизм». В. В. Розанов обрушился на этот опыт модели национального книжного ядра, по сути, со славянофильских позиций «священного писания литературы». И Федоров, разумеется, с присутствием ему темпераментом, не смог бы остаться в стороне от этой полемики. Но судьба распорядилась иначе...

Критические отзывы Федорова всегда необычайно прицельны, всегда «на поражение». В одной тональности с А. С. Хомяковым и Ф. М. Достоевским он обвиняет все «ученое сословие» в умозрительной «кабинетности», в отрыве от православно-нравственных основ жизни. «Истинная мудрость истории, — утверждает Федоров, — состоит не в том, чтобы отделяться, освобождаться от традиций, т. е. заменять их личными произволами, а понять их, чтобы остаться с массой в единомыслии, обращая мифическое дело в общее действительное» (I, 65).

В федоровской проекции философия истории Кареева предстает как «историософистика». «Прогресс для Кареева есть верховный критерий, посредством которого он судит историю, ибо философия истории есть суд; в этом и смысл истории, говорит он же» (I, 65). Не слишком симпатизирует Федоров и самому понятию «историософия» как плоду сугубо научных изысканий. Гораздо роднее для него «неуценое» обозначение — *мудрость истории*.

София — мать *Веры*, *Надежды*, *Любви* — христианских добродетелей, жизнеутверждающих человеческую общность. И если «философия» — *любовь к мудрости*, а «филология» — *любовь к слову*, то родственно иерархическая соотнесенность их с «историософией» знаменательна. Родословие историософской мысли измеряется тысячелетиями, хотя в научном обиходе «философия истории» укореняется только в XVIII—XIX веках.

Как и при Федорове, твердо установившейся дефиниции «историософии» в науке до сих пор не существует. Применительно к «истории книги» — специальной дисциплине на стыке книговедческих, библиотечных, библиографических отраслей знания — можно определить «историософию» как *осмысление ду-*

ховно-материального феномена книжной культуры в историческом процессе.

Наиболее стойкими в научном отношении представляются термины В. О. Ключевского, который определяет «историю» в качестве: 1) процесса движения во времени и 2) познания этого процесса. В данной трактовке «исторический процесс» есть «жизнь человечества в ее развитии».

Конкретизируя приведенную формулировку, Ключевский отмечает, что «человеческое общежитие выражается в разнообразных людских союзах, которые могут быть названы историческими телами и которые возникают, растут и размножаются, переходят один в другой и, наконец, разрушаются, — словом, рождаются, живут и умирают, подобно органическим телам природы. Возникновение, рост и смена этих союзов со всеми условиями и последствиями их жизни и есть то, что мы называем историческим процессом»*. Природа человеческого общения посредством *книги* сопряжена с органикой «исторических тел». Но ведь у любого человеческого «тела» есть *душа* и *дух*, есть *рассудок* и *разум*. И когда умирает «тело» *государства* (К. Н. Леонтьев), когда физически разрушается *культурно-исторический тип* (Н. Я. Данилевский), этническая или полиэтничная национальная *общность* (Л. Н. Гумилев), остаются их бесплотные *психеи*. Частично сохранившиеся *обличья* их являют памятники, среди которых *книга* на протяжении тысячелетий занимает «первое место» как источник *памяти* человеческого сознания (Федоров).

Согласно одной из созвучных Ключевскому современных философских трактовок, «исторический процесс — это длящаяся во времени коллективная драма, действующими лицами которой являются крупные социальные общности — народы, классы, государства, цивилизации»**. *Книга* — произведение письменности, печати — исполняет в *драме Истории* ведущую роль посредника между людьми, этносами, национальными культурами.

Что есть *история* книги? Это отнюдь не праздный вопрос, если с позиций книговедческого синтеза *вчитаться* в энциклопедические дефиниции. По своей родовой греческой этимологии «история» — «рассказ о прошедшем». Собственно «исторические источники» образуют плоть от плоти таких «рассказов» — произведений письменности. Все эти письменные свидетельства в ранней славянской традиции воспринимались как «книги». Более того, «книжным» считался любой текст, вплоть до писем, записок чисто бытового характера. Такова *книжная мозаика прошедшего*, пополняемая из реалий *проходящего* в историческом процессе.

* Ключевский В. О. Русская история: Полный курс лекций: В 3 кн. Кн. 1. М., 1993. С. 4.

** Философия истории / Под ред. А. С. Панарина. М., 2001. С. 7.

Историсофско-культуроведческая направленность подходов к осмыслению **истории книги** отчетливо проступила в контурах музейно-библиотечной стратегии, которую закладывал первый директор Московского публичного и Румянцевского музеев Н. В. Исаков. Вся деятельность музеев, по его убеждению, должна быть посвящена, прежде всего, *истории православия, государственности и литературы* в России. Грандиозный замысел собирания книжных памятников в стенах Пашкова дома изначально приобрел символическую тональность. По нарастающей это получает все более сильное звучание в период деятельности А. Е. Викторова на посту хранителя Отделения рукописных и старопечатных книг (1862—1878).

Именно Викторов в 1874 г. рекомендовал на службу в Румянцевскую библиотеку «Московского Сократа» — Федорова. Случайность? Возможно. Но знаменателен сам факт пересечения складывающейся тогда школы румянцевских книговедов с учителем «священного дела» — проективной философии *книги, библиотеки, культуры*.

Гений Федорова самобытно православен по духу и дерзновенен по своему космическому устремлению. Викторовская одаренность проявлялась прежде всего на стезе государственного собирательства книжных памятников. Концептуально Федоров расценивал такое библиофильство как первый подступ к собиранию *воскрешающей историко-культурной памяти* нации и человечества.

Примечательно, что через десять лет после кончины Викторова «идеальный библиотечарь» Федоров выступит поистине с *иконописным* предложением. «Нельзя ли митрополиту Алексею, икона которого имеется в память хранителя Рукописного Отделения А. Е. Викторова, вложить в руки Новый Завет, исправленный с греческого текста и составляющий, вероятно, задушевное дело, дело жизни Святителя? И А. Е. (Викторов. — М. П.), конечно, рад бы был, если бы увидел день, когда издан этот труд творца умственного подъема Московского Государства XIV века!» (III, 65).

Историко-культурная миссия книжников требует, по Федорову, жизнеутверждающей причастности к памяти Отечества. **Собирание книг** уподобляется **собиранию личности** — человека, народа, нации — Русской Земли. Это основа «умственного подъема» Московского Царства, Российской Империи.

«СВЯЩЕННОЕ ДЕЛО»

Россия в «историко-астрономическом» проекте Федорова предстает как Евразийская «небесно-земная Империя». Между *небесным культом Востока* и *земной цивилизацией Запада*. Сама на-

правленность осмысления отечественной и всемирной истории, по Федорову, связана с предметным определением отношений к Западу и Востоку. Именно поэтому житие Александра Невского — первого русского евразийца — занимает у Федорова особое место в книжной памяти нации.

Федоров, очень строгий, нередко беспощадный в своих оценках, непривычно мягок по отношению к Ивану Грозному в отличие, скажем, от славянофилов. Хотя и отмечает справедливо, что расцвет книжного просвещения в середине XVI века связан, прежде всего, с именем святителя Макария. Столь доброжелательное отношение к «тирану» имеет свои мотивы.

Иван Грозный пришел к осознанию значимости учительных и житийных книг, летописей для *домостроительства* русской культуры и государственности. Отсюда — Великие Минеи Четьи и Летописный свод — ядро национальной книжности. По словам Ключевского, это — «историческая теология». Это источник воспитания книгой — приобщения к целевой народности. (Последнее понятие содержательно отличается от социальной целостности индивидуумов народонаселения.)

Русская книжность призвана сеять не гуманистические абстракции «разумного, доброго, вечного», а живительные семена *любви к Отечеству*. В противоположность порывам страсти патриотизма. *Отечестволюбие...* Это слово стремился вернуть в наш обиход А. С. Шишков. *Отечествоведение... Любовь к отцам.* Это уже по Федорову. Вся деятельность «русской партии» XIX века направлена на восстановление связей с традицией Предания. В этом смысл евразийского завещания Достоевского: культивировать народность «глубоко национальной и консервативной печатью».

Александр Невский, Сергей Радонежский, святители Алексей и Макарий предстают у Федорова как подлинные выразители идеалов народности. И совсем рядом федоровское памятование об «Илье Муромце» русской науки — Михаиле Ломоносове. Это имеет принципиальную значимость. Поскольку вне зависимости от того, насколько сам Федоров был знаком с наследием Ломоносова, интуиция «Московского Сократа» проникает в самую сердцевину русской идеи книжного бытия XVIII—XIX веков.

Как и Л. Ф. Магницкий, Ломоносов видит смысл, предназначение российской науки, ее развитие в православном русле. Это синтез нового, подлинно созидательного в мировой мысли со священной традицией русской книжности, которая исходит из единства Писания и Предания. В учении Федорова это аксиома, требующая единства мысли и дела. *Ибо Царствие Небесное подобно книжнику, который выносит из сокровищницы старое и новое.*

Ломоносов впервые в условиях опаленной книжным расколом русской культуры выстраивает ценностную иерархию книги ста-

рой и новой печати. «Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божиим на славенском языке украшаться будет» *. «Благополучна Россия, что единым языком едину веру исповедует и единою благочестивейшею Самодержицею управляема великий в Ней пример и утверждение в православии будет» ***.

Как свидетельствуют предсмертные записи Ломоносова, он намеревался предостеречь Императрицу от того, к чему неизбежно приведет секуляризация культуры языка, книжности. «Ежели не пресечете, великая буря восстанет» ***. Напомним вновь о том, что высшее предназначение исторической науки, смысл **книги** истории российской Ломоносов видит в *метафизическом единстве поколений*.

Такая *метафизика* книжного общения, в сущности, предвосхищает федоровский постулат: «Истинная мудрость истории состоит не в том, чтобы отделяться, освободиться от традиций, т. е. заменять их личными произволами, а понять их. Чтобы остаться с массой в единомыслии, обращая мифическое дело в общее, действительное» (I, 65). Чем может быть «учение книжное» в отрыве от породившей его отеческой традиции? Абстрактный «интернационал» мировой книжной культуры можно моделировать сколько угодно. Но лишь в «кабинете»... А теперь еще «информационное сообщество». (Не будем забывать о библейской истории Вавилонской башни.) И вот, невольно продолжая мысль Хомякова о том, какие соблазны с давней древности таила гордость книжников под сводами библиотек, Федоров напоминает нам: «Наказание смешением языков последовало именно за то, что поколение живущих хотело воздвигнуть памятник себе, то есть забыло отцов, забыло, конечно, и язык их за исключением, впрочем, того, что слышало в раннем детстве и что, по-видимому, и не могло быть забыто, хотя бы и желали того» (I, 44). Письменное, книжное слово, по Федорову, изначально таит в себе соблазн: «младшее поколение считает себя выше старшего, но это настолько же основательно, насколько верно, что теория выше опыта, что теория может родиться и существовать без опыта».

Опять же от Магницкого и Ломоносова идет стиль духовного традиционализма в научном познании. В синтезе новаций и традиции, теории и опыта снимаются крайности, обусловленные механическим отражением внешнего мира и абстрагированными подходами к развитию науки. Отсюда — от Ломоносова к

* Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. М.; Л., 1952. С. 591.

** Там же. С. 420.

*** Там же. Т. 10. М.; Л., 1959. С. 357.

славянофилам, к Достоевскому и Федорову идет линия против самодостаточности науки, против абсолютизации спекулятивной философии. А в конечном итоге — против профанации идеалов книжного просвещения — против подмены цельной мудрости энциклопедизмом (в просторечии — каталожной и компьютерной «коммуналкой»).

«Где чужой язык употребляется предпочтительнее своего, где чужие книги почитаются больше, нежели свои, там при безмолвии словесности все некоторым образом вянет и не процветает» *. Это Шишков — первопреемник Ломоносова. Потом взойдет целое созвездие мыслителей, объединенных устремлением вслушаться в *небесно-земную музыку* русской истории. Потом будут славянофилы. Их «священное писание литературы». Потом настанет черед «неученого учения» Федорова и «русской партии» Достоевского.

Книга может быть «документом Бога» и «паспортом Антихриста». (Это Владимир Соловьев.) Высшее предназначение **книги**, по Ломоносову и Федорову, соединять через века. В вечности. Именно общность поколений и образует *народ*. Именно здесь — сердцевина общества. Общество в идеале являет личностную общность на пути традиции к своим истокам. Общество — *личность народа*, а не социальный *индивид народонаселения*. Смысл **книги** в истории — соединить сыновей с отцами во славу Отца Небесного. На земле. Такое служение **книги** Федоров и считает «священным делом».

Книжный союз с Ломоносовым первыми заключили славянофилы. Федоров резко отстраняется от них. Но к славянофилам после затяжной полемики с ними причисляет себя Достоевский. А самым «главным славянофилом» Федор Михайлович называет Пушкина. Предтечи славянофильства — Шишков, Карамзин, Ломоносов. И дальше — к книжникам Московского Царства XVI—XVII веков. Здесь есть органическая преемственность. Пусть органика эта искорежена расколом, но традиция до сих пор жива. И федоровское учение родом именно оттуда.

Нельзя подняться выше проективной идеи Федорова. Выше могут быть только звезды. «От Востока Звезда сия воссияет». (Это из «Братьев Карамазовых».) А «реалистичнее» Достоевского пока еще никому не удалось оказаться. То есть стать бескрайнее, шире, озареннее, глубже. «В косых лучах заходящего солнца». И все время на краю бездны.

Мы живем в Истории. Наше *небесно-земное* общение, причастие к родному и вселенскому возможно посредством **книги**. Достоевский и Федоров чувствуют это сердцем и помышлением, чув-

* Шишков А. С. Собрание сочинений и переводов. СПб., 1824. Ч. III. С. 261.

ствуют буквально каждым нервным окончанием. Конечно, каждый по-своему.

У Федорова исторический смысл **книги** наставнически вплетен в вертикаль его «неученого учения». В мире Достоевского тема **книги и чтения** бездонна. Здесь ничего невозможно «сузить». **Ибо нет греха непрощительного, кроме греха нераскаянного.**

В русской традиции **наука о книге** есть общественное, нравственно ценностное знание. Смысл этой науки — сделать память отцов сыновней из рода в род. Иначе мы соприкасаемся не с **книжностью**, а в некотором роде с *бумажной* или *электронной* средой. Люди «из бумажки». (Это по Достоевскому.) Или из компьютера. В проекте воскрешения **книгой** у Федорова «целью жизни будет спасение от культуры», которая лишена культа предков. Иного не дано.

